Довлатов Сергей (режиссёр)

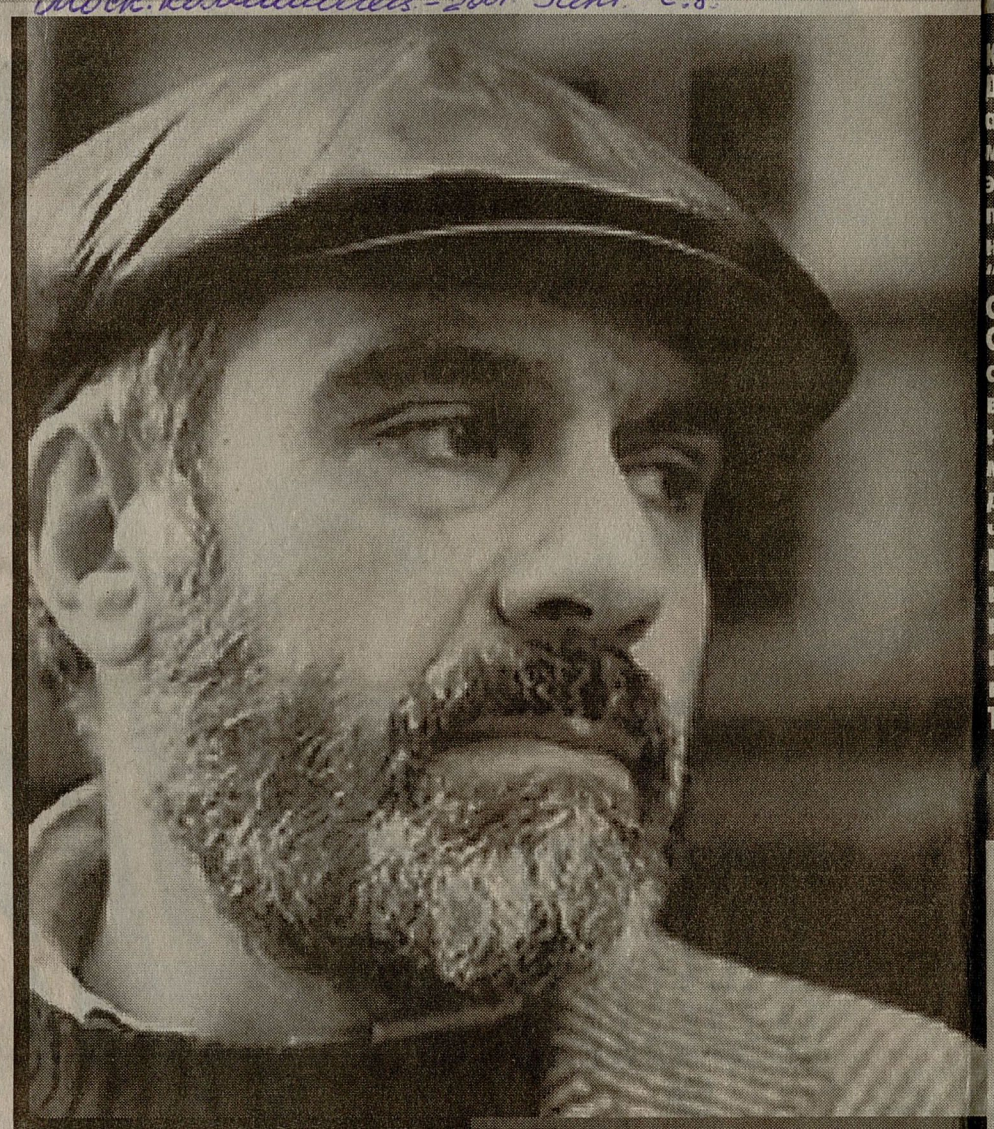
03.9.01

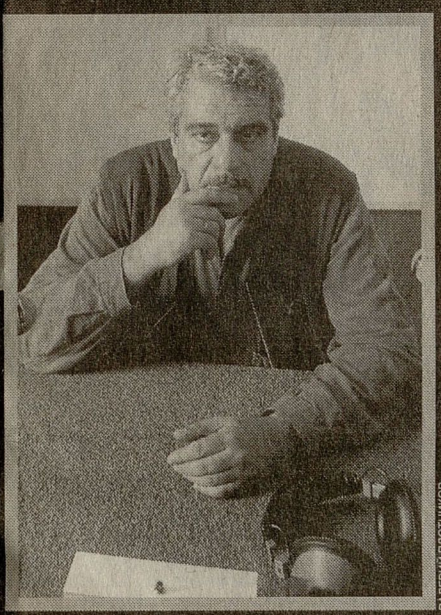
ГЕРОИ ВЧЕРАШНИХ ДНЕЙ

Моск. комсомолец - 2001 - 3 сент. - с. 8.

МЫТАРЬ

Как-то повелось писать о Довлатове — с легкой руки его автогероя — иронично, светло и в мажоре. По мотивам и в тон его эмоционально бестрепетной прозы. У меня в дневнике за ноябрь 1971 года записано: "Снова приходил Довлатов. Совершенно замученный человек. Сказал, что он — писатель-середняк, без всяких претензий, и в этом качестве его можно и нужно печатать". Вспоминаю мытаря, поставившего рекорд долготерпения. Убившего годы, чтобы настичь советского Гутенберга. И не напечатавшего ни строчки. Выделяю три исхода — по месту действия Сережиных попыток материализоваться в печатном слове: Ленинград, Таллин, Нью-Йорк.





ВАЛЕРИЙ ГЛОТНИКОВ

Ленинград: хождение по мукам

Семидесятые, их первая половина. Рождение нового печатного органа — журнала "Аврора". Я работала в отделе прозы. Однажды на нашем пороге возник совершенно не литературный на вид и уж точно без всякого личного шарма мастодонт в зимнем прикиде — Сережа Довлатов. И главная редакторша, не знавшая в лицо творческую молодежь, успела с раздражением крикнуть ему, что не туда сунулся, ошибся дверью, "вот и закрой ее, сделай милость, с другой стороны". Сережа остолбенел, но быстро справился и пошутил о прелестях военного коммунизма. Так я впервые с ним встретилась в рабочем, так сказать, порядке. Я хорошо запомнила наш разговор по причине нелепой и досадной, преследующей Сережу до конца его хождений в "Аврору". Он, дурачась, изобразил идейно-лексическое триединство питерских взрослых журналов такой картинкой: течет революционная река "Нева", над ней горит пятиконечная "Звезда", стоит на приколе "Аврора". А на берегу, возле Смольного, пылает в экстазе патриотизма "Костер", зажженный внуками Ильича. Что-то в этом роде. Сережина версия была точней и смешней. Он стоял в пальто, тщетно апеллируя к аудитории, — никто его не слушал. Был старателен и суетлив. Очень хотел понравиться как перспективный автор. Но главная редактриса смотрела хмуро. И ни один из толстой папки его рассказов не был даже пробно, в запас, на замену, рассмотрен для первых авроровских залпов.

Никто тогда его не принимал всерьез. Помню, у Битова, Бродского, Марамзина, Ефимова, да у многих, такой пренебрежительный отмах:

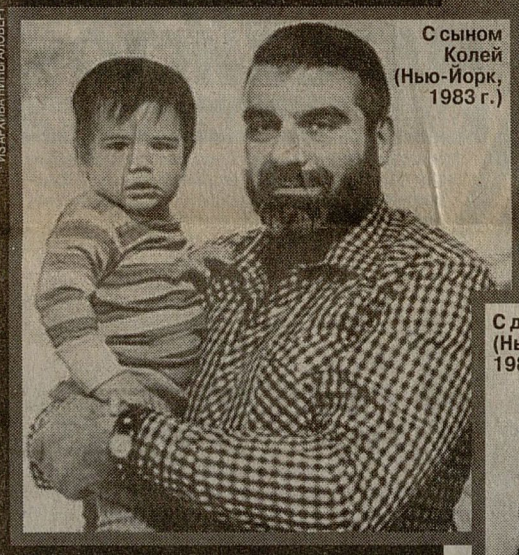
"А-а, Довлатов — легковес". Наперекор его телесному громоздью. Володя Торопыгин, следующий главный редактор "Авроры", верный всем подряд оттепельным идолам, обижался, когда я давала ему на одобрение Сережины рассказы. Он не считал, что ради Довлатова стоит нарываться на неприятности, на которые он шел ради Стругацких, Володина, Валерия Попова, Битова, Сосноры...

На вечеринках у Игоря Ефимова, где гостей сажали, как в Кремле или Ватикане, по рангам, Сережа помещался в самом конце стола без права на женщину и вынужден был весь вечер слушать парный конферанс Наймана и Рейна, сидящих по обеим сторонам от сопредседателей — Ефимова и его жены. Находясь в загоне, Сережа сильно киксовал и развлекал таких же, как он, аутсайдеров в конце стола. "Смотрите все!" — и подымал с пола стул за одну ножку на вытянутой руке. Говорил, что так может он и еще один австралиец. А что ему оставалось? Сережа не обижался. Он признавал эту табель о рангах. Мечтал когда-нибудь стать полноправным членом элитарного клуба. Но, как всегда, опоздал. Бродский эмигрировал в Америку, Битов, Рейн и Найман — в Москву, Ефимов какое-то время удачно изображал остров — в изоляции от чумного литературного материка. А пока Довлатов ходил по редакциям.

Никто из знакомых мне по "Авроре" пишущих людей — ни начинающий автор, ни тем более заканчивающий — не имел столь мизерного сознания своей авторской величины. Много позднее Довлатов, мучимый даже в Нью-Йорке тотальным непечатанием его на родине, нашел, как ему казалось, исчерпывающий ответ: "Я начал писать в самый разгар хрущевской оттепели. ... Я завалил редакции своими произведениями. И получил не менее ста отказов. Это было странно. Я не был мятежным автором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврейской проблемы... Я писал о страданиях молодого вохровца, которого хорошо знал. О спившихся низах большого города. О мелких фарцовщиках... Я не был антисоветским писателем, и все же меня не публиковали. Я все думал — почему? И наконец понял. Того, о чем я пишу, не существует. То есть в жизни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует".

Весной 1975-го Довлатов зачастил в "Аврору". Это была, на последнем отчаянии, его осада советской крепости. Рукописи Сережа держал в щегольских папках. Ручной работы. Он приносил эти папочки, и поскольку печатать это было невозможно, я аккуратно складывала их в шкаф: нижняя полка, такая стопка папок, а наверху надпись от моей руки: "Возвратить Сергею Довлатову". Сережа суеверно за рукописями не приходил. Последнее его приношение, к счастью, лежало у меня в столе.

Как раз в это время в отделе прозы появился новый заведующий — Вильям Козлов. Человек глубоко невежественный и склонный к моментальным, без всяких сомнений, поступкам. В свой первый рабочий день Козлов заявился в редакцию рано утром, и вскоре туда забежала ватага пионеров за макулатурой. Секунды не подумав, Козлов пригласил их в отдел прозы и предложил весь этот шкаф. Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел наконец за рукописями: гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика: все, что он делал эти годы, уничтожено и никому не нужно. Перерезано. Он снова становился начинающим писателем.



ИЗ АРХИВА НИНЫ АЛОВЕРТ

С сыном Колей (Нью-Йорк, 1983 г.)

3 сентября Сергею Довлатову исполнилось бы только 60 лет...

ИЗ АРХИВА НИНЫ АЛОВЕРТ

С дочерью Катей (Нью-Йорк, 1981 г.)

Таллин: бросок на ближний Запад

Начинающим писателем он поехал в Таллин. В повести "Ремесло" Довлатов пишет об этом своем внезапном броске на ближний Запад: "Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья?.. Разумные мотивы отсутствовали. Была попутная машина. Дела мои зашли в тупик. Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности".

Рывок в Таллин — и он пришел в себя. Он начинал с начала. Поэтому начинал кропотливо, с большим запасом терпения, готовясь к обычным советским мытарствам. Пустил в ход свой дар налаживать знакомства, контакты, полезные и опасные связи, любовь и вражду. А потом подул, впервые в Сережиной судьбе, попутный ветер. Появилась возможность издать первую книгу. Подписание договора. Никаких многолетних мытарств. Гранки, вторая корректура. Волшебная феерия успеха! В "Авроре" о Довлатове не вспоминали. Затем, с большим промежутком, восторженно-завистливый гул: выпускает сразу две книжки — взрослую и детскую, метит в их-ний Союз писателей. И больше о Довлатове — ни звука. Что обе книжки были зарублены на стадии верстки местным КГБ, я узнала случайно в Таллине и при самых мрачных обстоятельствах.

Кажется, в марте 75-го "Аврора" с авторским активом отправилась пропагандировать себя в соседний Таллин. Довлатова нигде не было. Поэт Саша Кушнер, входивший тогда в силу, вдруг говорит: "Сейчас я вам покажу что-то очень любопытное". Вышли из старинного центра Таллина, архитектура становилась все более окраинно-советской. Что-то вроде доходного — огромного, облезлого и старого — дома. Темная и пахучая — заскорузлым жильем — лестница. Мы вошли в большую, почти без мебели комнату. В углу — по диагонали от входа — сидел Довлатов. Он сидел на полу, широко расставив ноги, а перед ним — очень ладно составленные в ряд — стояли шеренги бутылок. На глаз — около ста. Винных, водочных, коньячных. Страшное зрелище! Во-первых, невозможно столько выпить и остаться живым. Во-вторых, передо мной сидел не алкоголик. В нелепой позе поверженного Гулливера сидел человек, потерпевший полное крушение. Тягостно было смотреть, как он — на полпути к сознанию — силился вникнуть в Сашины расспросы, да еще держать при этом достойный стиль. Потому так поразила меня реакция Кушнера: торжество победителя. Он откровенно веселился над фигурой Довлатова у разбитого корыта писательской судьбы. И хихикал всю обратную дорогу. И был отвратителен.

После неудачной литературной эмиграции в Эстонию Довлатову ничего не оставалось, как эмигрировать по-настоящему — в Америку.

Нью-Йорк: дебют — триумф — смерть

В Америку приехал снова начинающий писатель. Он получил здесь то, чего никогда не пробовал, — неограниченную творческую свободу. Понравилось чрезвычайно! Оказалось, в его случае — это первое условие, залог и гарант настоящей удачи. Только в Америке Довлатов узнал наконец и правильно понял свою авторскую потенцию, запросы, вкусы, цели, фобии и притязания — ведь до сих пор он был совершенно непритязательным автором.

Первый год в Нью-Йорке он производил впечатление оглушенного. О литературе не помышлял. Не знал, с какого боку к ней здесь подступиться. Ходил на ювелирные курсы в Манхэттене, реквизировав у жены на расплав в сырье серебряные кольца и браслет. Стоически убеждал себя и других, что способен делать бижутерию лучше мастеров, что это у него от Бога и хватит на жизнь. Чуть позже Сережа загорелся на сильно денежную, по его словам, работу швейцара — в пунцовом мундире с галунами, в роскошном отеле Манхэттена. Говорил, что исключительно приспособлен — ростом, статью и мордой — для этой должности. Что кто-то из очень влиятельных русских обещался ее достать по блату. Что он уже освоил по-английски весь словарный запас учтивого швейцара: "Эй, такси!"; "Позвольте подсадить"; "Ваши чемоданы!"; "Премного благодарен".

Год он прожил в Нью-Йорке, как заблудившийся человек, который не знает, в какую сторону надо выбираться. В Союзе Сережа добивался официального признания своего писательства. Издательства, журналы, газеты были государственными — на государственном обеспечении и режиме работы. В русском Нью-Йорке Довлатов таких учреждений не нашел и смирился. Что печатный орган может возникнуть из частной инициативы, из личных усилий — пришло как откровение. Не всегда радостное. Долго еще, готовя в печать свои домодельные книжки-тетрадки, со своими рисунками, дизайном, набором, в бумажных обложках и ничтожным тиражом, Довлатов сокрушался по недоступным ему советским типографиям с их высоким профессионализмом, громадными тиражами и щедрыми гонорарами. Но постепенно — в связи с американским успехом — эти сожаления ушли.

Именно в русской колонии Нью-Йорка питерский американец стал крепким писателем с хорошо различимой авторской физиономией. Он уже не называл себя рядовым — притязал на большее. Оглядываясь сейчас на Довлатова в Нью-Йорке, дивишься его изобретательской энергии, экспрессивной затейности, совершенно недоходной, но бурной предприимчивости. Он подбил здешних журналистов и литераторов на массу убыточных изданий — от "Нового американца" до "Русского плейбоя". Были и другие трудоемкие затеи. Вроде устного журнала "Берег". К своим литературным начинаниям Довлатов привлекал эмигрантов, живущих разобщенно — надомниками — в разных углах Нью-Йорка. Вокруг него клубился народ. Он любил сталкивать людей, высекая сильные чувства и яркие реакции. Всеми силами и приемами, не заботясь об этике, Довлатов пытался расцветить "тусклый литературный пейзаж русского Нью-Йорка" — кормовую базу его эмигрантской прозы. Совершенно сознательно он обеспечивал себя литературной средой, без которой — он это твердо знал — писателя не существует.

Не любил в прозе и в стихах высокого и умного. Говорил, что писатель не создает сознательно высокое искусство. Что если он работает с такой установкой, то результат будет художественно ущербный — не на высоте писательских претензий. Это — в огород Бродского, которого Сережа тогда побаивался, считал влиятельным литературным вельможей, зависел от его, Бродского, милостей, отпускаемых Сереже скупо и оскорбительно. Довлатов был так затравлен авторитарностью Бродского, что при случае выплёвывал, как клятву: он — гений, классик, идолище, лучший из русских поэтов, критиковать его не смею и, чтобы не было позыва, книг его последних не читаю вовсе. Но, конечно, примириться или принять за норму литературный деспотизм Бродского Сережа не мог — хотя бы из юмора. И, случалось, бунтовал — напрямую, а чаще — вприглядку.

Интенсивно, в упор переживая настоящее, Сережа не интересовался будущим временем. Говорил, что будущее для него — это завтра, в крайнем случае — послезавтра. Прошедшее его не угрызало — он отправлялся туда исключительно по писательской нужде. Был равнодушен к памяти — она его не жгла. Он также был не большой охотник кота назад прогуливать. В пережитое наведывался только по делу, за конкретностью, которой был фанатик.

Насчет смерти. Несмотря на грандиозные запои, из которых он выползал все с большими потерями для здоровья, Сережа о смерти не помышлял. Она не входила в круг его размышлений и планов. Исключая последние три месяца жизни. Он мог говорить, что из следующего запоя не выкарабкается, он собирал и пристраивал свой литературный архив, но в глубине души он в смерть для себя не верил. Часто прикидывал старость. Заботился ее обеспечить. К мерзкому у него была эстетическая неприязнь. Мертвого — друга, приятеля, родственника — он сразу отметал. Чужая смерть давала ему допинг на жизнь.

Я помню Сережу угрюмым, мрачным, сосредоточенным на своем горе, которому не давал не то чтобы излиться, но даже выглянуть наружу. Помню типично довлатовскую хмурую улыбку в ответ на неуклюжие попытки его расшевелить. Особенно тяжко ему приходилось в тот год перед последним в его жизни 24 августа. Вернувшись из перестроечной Москвы с чудесными вестями, я первым делом отправилась к Сереже его обрадовать: в редакциях о нем спрашивают, хотят печатать, кто-то из маститых отозвался с восторгом, это настоящая слава.

Сережа был безучастен. Его уже не радовали ни здешние, ни тамошние публикации, ни его невероятное регулярное авторство в "Нью-Йоркере", ни переводные издания его книг. Все, чего он так душедробительно добивался, к нему пришло. Но как он говорил: "Слишком поздно". Даже сын у него родился, которого вымечтал после двух или трех разноматочных дочерей. Но и про Колю Довлатов, обожавший его, сурово ответил: "Слишком поздно". За долгие годы мыканья по советским редакциям у Сережи скопилось слишком много отрицательных эмоций. И ни одной положительной. Те клетки в его организме, что ведают радостью, просто отмерли.

Что скрывать — у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось так, как он хотел. Вообще не писалось. Была исчерпанность жизненных сюжетов. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы — попытка уйти хоть на время из тупика, о который он бился и бился. Тяжко ему было перед смертью. Смерть не захватила его совсем врасплох.

Елена КЛЕПИКОВА,
Нью-Йорк.